

# МЕЖДУ ИСТОРИЕЙ И ПРОШЛЫМ: ПИСАТЕЛЬ СТАЛИН И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОКИ СОВЕТСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Евгений Добренко

Революция — это букварь для народа.  
Андрей Платонов. Чевенгур.

## *Краткость — сестра таланта*

Прочитанная книга коммунизма лежит сегодня открытой. Теперь, когда в ней не надо жить, ее стало можно читать.

Коммунизм был действительно книгой. Для литературоцентричной русской (и советской) культуры «открытая книга» — не образ. Традиция соответствовала самой природе советского политико-эстетического проекта, одно из отличий которого от другого сверх-проекта XX века — нацистского — состояло, по точному наблюдению Валерия Подороги, в том, что Гитлер был «человеком речи», а Сталин — «человеком письма»<sup>1</sup>.

Здесь возникает, однако, вопрос: если сталинский текст столь культурно значим, то как могла на протяжении четверти века функционировать эта культурная модель *при остром дефиците самих сталинских текстов*? Как известно, Сталин очень мало написал, и когда к концу жизни готовил собственное собрание сочинений, то едва ли набралось 12 томов, где в разрядку, огромными буквами (как будто детским шрифтом) было напечатано то немногое, что было создано им за более чем пять десятилетий активной политической деятельности. Надо заметить, что практически все собрание сталинских сочинений состояло из «работ» до-сталинской эпохи: в 1930-е годы и без того еле заметный ручеек почти полностью иссыхает, а послевоенное десятилетие едва укладывается в один том (тот самый, который и не был издан в СССР после смерти Сталина).

Можно, конечно, предположить, что редкость появления сталинских текстов чем дальше, тем больше служила их большей сакральности. Дело не в том, однако, *что* было Сталиным *написано*, но — *что* было им *отобрано* для публикации. Политики, пришедшие к власти, пишут мало. Зато существуют огромные аппараты референтов, пишущих за них (такие аппараты существовали при Троцком, Зиновьеве, Бухарине и др.). Следовательно, появление таких текстов — не результат произведенной вождем работы, но результат стратегии его поведения, жеста: дело не в самом тексте, но в факте его публикации.

Вожди писали книги. Сталинское же собрание сочинений состоит из речей, выступлений, писем, замечаний, словом, из периферийных («коротких») жанров. Три книги вождя никогда при этом не признавались *его* книгами и, по иронии, назывались «краткими». Речь идет о следующих книгах: «Ленин Владимир Ильич. Краткий очерк жизни и деятельности», «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография», «История ВКП(б). Краткий курс». Замечательно, что авторство этих

текстов прозрачно скрыто: из речи Хрущева на XX съезде известно, к примеру, что Сталин сам редактировал собственную биографию, вписывая в нее целые страницы; многое известно и о ходе работы над «Кратким курсом истории ВКП(б)».

И все же: кем эти книги, собственно, написаны? В «Кратком курсе» сообщается: «Под редакцией Комиссии ЦК ВКП(б)»; под ленинской биографией не значится ничего вообще, а стоит лишь гриф «Института Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б)»; наконец, под биографией Сталина стоят фамилии шестерых «составителей». Между тем, очевидно: для того, чтобы нечто можно было «редактировать» или «составлять», это нечто должно как минимум *существовать*. А вот проблема прототекста не может быть спорной. Несомненно, он-то и принадлежал Сталину.

Здесь нет никаких «исторических догадок»: всякому известно, что сталинский стиль резко специфичен. Он неизменно строится на определенных конструкциях, оборотах, фигурах, умозаключениях, «логике», которые присущи были только сталинским текстам. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть любую сталинскую работу. Рассматриваемые здесь тексты обладают несомненной внутренней интертекстуальностью. Они написаны одним — сталинским — языком, в одном — сталинском — стилевом ключе и различаются лишь жанрово. Если утверждать, что автором названных трех «кратких» текстов был кто-то другой, а не Сталин, остается предположить невероятное: кто-то сознательно стилизовал Сталина и сам вождь затем правил эти стилизации. Предположение это фантастично еще и потому, что Сталин писал и надиктовывал свои тексты сам, очень тщательно отбирая слова и речевые обороты. Причина здесь была вполне прозаическая. Объяснил ее Троцкий: «Одиннадцати лет Иосиф поступил в духовное училище. Здесь впервые познакомился с русским языком, который навсегда остался для него школьным, усвоенным из-под палки, чужим языком»<sup>2</sup>. И далее: «В тюрьмах и ссылке Сталин провел в общем около восьми лет, но поразительное дело: ему так и не удалось за этот срок овладеть ни одним иностранным языком. В бакинской тюрьме он пробовал, правда, изучить немецкий язык, но бросил это безнадежное дело и перешел на эсперанто, утешая себя тем, что это язык будущего. В области познания, особенно лингвистики, малоподвижный ум Сталина искал всегда линии наименьшего сопротивления»<sup>3</sup>.

Уклонимся от оценок Троцкого: ум Сталина при всей его «малоподвижности» был достаточно гибок и — главное — не менее эстетически чуток к той исторической роли, которую суждено было сыграть Сталину в постреволюционную эпоху, удалив «подвижные» политические умы революционных риториков, таких как Троцкий, вместе с их головами. Это эстетическое чутье и подсказало Сталину странное, на первый взгляд, решение: уклониться от авторства трех созданных им книг — метатекстов советской культуры. Но не проблема авторства, а проблема номинации составляет самое событие «книги вождя»: в конце концов, не важно, кто писал мемуары Брежнева — важно, что они вышли под его именем; не важно писал или «вписывал» Сталин — важно, что все три книги несут на себе неизгладимую и мгновенно узнаваемую печать сталинского стиля, сталинской логики. Словом, «сталинского гения», как сказали бы в те времена.

Сталин писал не теоретические книги, не политические манифесты, не политико-экономические исследования, не мемуары. Он писал историю. Это писание истории было для него частью, причем, очень важной частью самого *делания* Истории. «Трехкнижие» — главный интеллектуальный и литературный памятник сталинской эпохи, «клинически чистый случай тоталитарного сознания»<sup>4</sup>. Настоящая сверхзадача книг Сталина — создание советской мифологии — могла быть реализована именно в исторических повествованиях — не собственно литературных, не научных, не теоретических. Только история позволяет соединить некое «знание» с литературой, придав литературе вид «объективного изложения прошлого». Мифо-

генный потенциал, заложенный в самой природе исторического дискурса, неисчерпаем.

В эпоху критики идеологии нарратив был осознан в качестве настоящего домена мифологии, что позволило Ролану Барту утверждать: «Функция нарратива не “представлять”, но устанавливать оптику... Нарратив не показывает, не имитирует... С точки зрения референциальной (реальности) то, что “имеет место” в нарративе, есть буквально *ничто*; “то, что происходит” — только язык, приключения языка...»<sup>5</sup>

Приключения — это сюжет. Его-то и дает нарративу история, которая в то же время сама является продуктом нарративизации социального опыта. История и начинается с нарративных процедур. Но всякое историческое повествование (а сталинские «истории» в огромной степени) апеллирует к определенной норме. Норма эта конституирована в социальных институтах права и власти. «Нарративность, неважно литературного или фактического типа, предполагает существование систем права, против которых или от имени которых выступают “агенты нарратива”. Это дает основание подозревать, что нарратив в целом, от фольклора до романа, от летописи до полноценной “истории”, имеет дело с правом, легальностью, легитимностью, или, в более широком плане, с властью... Интерес к социальной системе, которая есть не что иное, как система человеческих отношений, управляемая законом, создает возможность развития напряжений, конфликтов, борьбы и разного рода их разрешений, в которых мы приучены видеть репрезентацию реальности, предстающей перед нами в виде истории»<sup>6</sup>.

При этом Хайден Уайт различает три вида исторического повествования: коммуникативный, экспрессивный и конативный. Именно во втором типе «дискурс является аппаратом продукции значения в большей степени, чем механизмом для передачи информации о внешнем референте (реальности)»<sup>7</sup>. Нет нужды говорить, что интересующие нас здесь «краткие тексты» были образцовыми «аппаратами продукции значения».

Здесь мы и вступаем в область собственно литературы. «В историческом дискурсе, — пишет Уайт, — нарратив служит трансформации в повествование списка исторических событий, который в противном случае был бы простой хроникой. Чтобы произвести эту трансформацию, события, действующие лица и сами действия, представленные в хронике, должны быть декодированы в элементы повествования и, значит, представлены как определенные события, действующие лица, действия и т. п., осознаваемые в качестве элементов повествований определенных типов. На этом уровне декодирования исторический дискурс уводит читательское внимание ко вторичному референту, отличному от событий, представленных первичным референтом, а именно, к сюжетным структурам различных типов повествования, представленным в данной культуре»<sup>8</sup>.

«Вторичный референт» сталинской культуры представлен соцреализмом. По его моделям и строится сталинское трехкнижие. Иными словами, биографии Ленина, Сталина и «Краткий курс» должны быть поняты не просто как произведения соцреализма, но как его метатексты. *Сталин и был главным советским писателем*. Так что, стоит заметить, обращение его «малоподвижного ума» к «области лингвистики» и «вопросам языкознания» в конце жизни несколько не было случайным.

Сталин проявил свой писательский талант в трех основных жанрах исторического повествования. Мы и обратимся к ним по мере жанрового (не хронологического) восхождения: биография — наиболее простой, поскольку позиция Другого по отношению к Другому наиболее естественна; автобиография — более сложный тип исторического повествования, поскольку позиция Другого (биографа) по отношению к себе самому всегда требует эстетического дистанцирования; наконец, история как таковая, требующая позиции Другого по отношению уже не к отдельной личности, но к миру в целом, и обладания неким целостным же, абсолютным знанием об этом мире, является высшей ступенью исторической жанрологии.